ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Вл. ВОЙТИНСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН
1 9 2 4

С 47/488

Вл. ВОЙТИНСКИЙ

ГОДЫ ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ

КНИГА ВТОРАЯ

НА УЩЕРБЕ РЕВОЛЮЦИИ

51-818

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН
1 9 2 4

Новому направлению организационной работы я решительно не сочувствовал, да и не мог ему сочувствовать при той позиции, которую я занял во фракционной полемике по поводу раскола с.-д. фракции Государственной Думы. С самого начала я был противником этого раскола и послал даже в петербургскую «Правду» статью под заглавием «В защиту общего знамени». Редакция переслала рукопись в Краков, и оттуда я получил от Ленина дружеское письмо, которым «Ильич» пытался вернуть меня в лоно большевизма.

Письмо начиналось замечанием: «по всему видно, что автор находится в плену у меньшевистски-сволочной компании». А заканчивалось рядом добрых пожеланий, из числа которых запомнилось мне одно: «почаще плюйте на меньшевиков».

Меня это письмо не убедило, и с этого времени началось мое организационное удаление от большевизма.

* * *

Весной 1914 года я решил предпринять поездку по Сибири.

Наметил маршрут: на лошадях до Лены, затем вниз по реке до Якутска; оттуда по Алдану и Мае, на Восток до Нелькана, тем путем, каким в XVII веке пробирались казаки к Великому океану, а дальше пешком через Джугджурский хребет к Аяну на Охотском море.

Разрешение на путешествие я получил без затруднений, несмотря на донос жандармов Князеву о том, что я еду в Якутскую область организовывать ссыльных для предстоящего «выступления».

Легко добыл я и средства на поездку: через редакцию «Русского Богатства» условился с «Русским Словом» о посылке в газету путевых очерков и получил аванс[1]).

[1]) Впоследствии мои очерки не увидели света: не до них было газете осенью 1914 г.

Перед самым моим отъездом из Иркутска пришел ко мне с.-р. М. Веденяпин[2]) и предложил ехать вместе со мной. Веденяпина я знал очень мало. Но это один из тех людей, которых нельзя не полюбить с первого взгляда. Достаточно видеть его мужественное, суровое лицо, освещенное ласковыми голубыми глазами, чтобы почувствовать в нем человека со стальной волей и золотым сердцем. Я был рад иметь такого спутника. Дня два потребовалось на окончательные сборы, и мы двинулись в путь.

До Качуга (верст 200 или 250) мы ехали на почтовых. В Качуге купили за 6 рублей лодку и поплыли по Лене.

Река просыпалась от зимнего сна. Десятками, сотнями чернели на ней лодки с приискателями, плывущими вдаль с мечтой о золоте, скрытом на берегах Бодайбо и Витима.

Добравшись до Усть-Кута, бросили лодку и пересели на пароход.

На остановках спускались на берег, разыскивали политических, расспрашивали их о местных условиях жизни. Картина повсюду была одинаковая — серая, безотрадная: нужда, тоска, ссоры.

Только в Якутске застали сплоченную организацию ссыльных.

Странный город. Дома — избы из бревен чуть ли не в аршин в поперечнике, с заборами похожими на тюремные пали. На улицах пустынно, безлюдно. Лишь изредка проедет якут на тележке, запряженной парой коров.

Было начало июня. Ночью было светло, как днем. Можно было читать без огня.

В Якутске я встретил Ногина («Макара»). Старый партийный работник-большевик, он, как и я, был в то время сторонником единства партии, осуждал политику раскола, много и горячо говорил о вреде, который приносит эта политика рабочему движению.

[2]) Один из осужденных по московскому процессу социалистов-революционеров в 1922 году.

Много интересного рассказывал Ногин о жизни края, о нравах местного чиновного мирка, о духовенстве, о положении инородцев. Мы отправились с ним в ближайшее скопческое село (Покровское), где жила Лидия Субботина[1]), опростившаяся по-толстовски, вышедшая замуж за мужика-аграрника и принявшаяся за крестьянский труд.

Якутские ссыльные социал-демократы устроили собрание, на котором я прочел доклад о текущем моменте, о перспективах нового под'ема, о необходимости восстановления единства партии.

Мы с Михаилом спрашивали у товарищей, нет ли чего любопытного по близости. Нам посоветовали с'ездить полюбоваться северным полярным сиянием.

— А это далеко?

— Не очень, всего 2.000 верст.

У нас не было времени для такой прогулки, — лето на Севере короткое, необходимо было спешить, чтобы вернуться в Иркутск до конца навигации.

* * *

Уже в Якутске каким то странным диссонансом казалась кучка ссыльных, говорящих о Государственной Думе, о рабочем движении в России и в Европе, о партии.

Но дальше пошла уже совершенная глушь.

Ничто не изменилось здесь с XVII века, когда первые русские люди шли этой рекой, пробираясь к теплому морю. На тысячи верст ни жилья. А из лесу там и сям выходят инородцы-тунгусы, палят в воздух из ружей, приветствуя пароход. Тут же, на прибрежном песке, происходит первобытная торговля: порох, свинец, мука, масло идут в обмен на пушнину.

[1]) Работница петербургской с.-д. военной организации в 1907 г. осужденная по делу с.-д. фракции 2-ой Государственной Думы.

Доехали до Нелькана, — крайний пункт, до которого доходят пароходы на Мае.

Десяток бревенчатых домиков, почерневшая от времени часовенка, пара остроконечных тунгусских «урас», два амбара над самой рекой, кругом ни лугов, ни пашен. За полоской земли с постройками и прильнувшими к ним огородами — сплошная стена темных пихт и елей.

Это — своего рода торговая «фактория». Живут здесь купцы, промышляющие доставкой чая с Охотского моря через Джугджурский хребет и сплавом его вниз по Мае и Алдану до Лены.

Проливные дожди задержали нас здесь на несколько дней, но мы не теряли времени даром: от местных людей мы узнали, что летом путь через Джугджур представляет большие трудности, что сообщение между Маей и Охотским морем поддерживается лишь в зимнее время на оленях, — нужно было основательно приготовиться к дальнейшему путешествию, изучить дорогу, выправить карты.

Заодно приглядывались к жизни поселка.

Царил здесь купец Филиппов. Он держал в своих руках половину сплава, состоял бессменно церковным старостой и попечителем школы, вел крупную торговлю спиртом, каждый год ездил в Якутск, а в молодые годы бывал и в Иркутске.

Комнаты у него были убраны по-городскому: шерстяные портьеры, мягкая мебель, гнутая качалка, висячая лампа, а на самом видном месте, на столе под лампой, граммофон с огромным, пестро раскрашенным рупором.

Впрочем, граммофоны были в Нелькане у всех, — у священника, фельдшера, мелких промышленников, подрядчика и даже у одного тунгуса. Но у Филиппова пластинок было больше, а кроме того он выписывал «Ниву», и неразрезанные №№ ее стопками лежали у него на этажерке.

Купец и его жена угощали нас пирогом с рыбой, заводили «музыку», занимали нас разговорами.

Хозяйка рассказывала о том, как ездила она четыре года тому назад в Якутск к сестре. Неизгладимое впечатление произвел на нее кинематограф.

— Всего лучше было, как машину показывали. Рельсы видать, станция, вагоны . . .

Изумилась, узнав, что я ездил по железной дороге, и что это совсем не страшно.

— А я в жизнь не привыкла бы. На стене видать, что люди в окна глядят, смеются. Да я думала, это актеры, обученные, виду не показывают, что боятся.

Жаловалась на жизнь в Якутске:

— У нас то, слава Богу, — тихо. А в Якутске суетня, беготня, несутся кругом, сломя голову. Больна я там сделалась от волнений. Мне и доктор говорил, — вам нервы не позволяют в городе жить . . . Пропадешь там на улице, затолкают, с ног собьют, а то и лошадьми покалечат.

Натерпелась страху бедная женщина и в кинематографе?

— Темно, народу много, и не знаешь, что за люди кругом. Может, он и добрый человек, а ты дрожишь, как бы он в карман к тебе не залез . . . А то по голове сзади хватит, — кто его знает? . .

Филиппов, стесняясь необразованности жены, пояснил:

— Глушь сказывается. Всего то она в Якутске боялась, а через Джугджур верхом проехать с работником — ей не страшно. Когда прошлым летом медведь к нам в коровник вломился, а оттуда во двор вылез, а меня в ту пору дома не было, — не перетрусила.

Хозяйка смеялась:

— Что мне медведь сделает?

Были мы с Михаилом и у других нельканских обывателей. Повсюду угощали нас граммофоном, водкой и оленьей строганиной.

Один из купцов, желая показать, что он человек с «понятием», пустился с нами в разговор о международной политике. Он спросил меня:

— А скажите, пожалуйста, война кончилась или нет?

— Вы о второй Балканской войне? догадался я: Так мир ведь давно заключен! После Бухарестского договора там все тихо.

Купец неодобрительно покачал головой:

— Порт-Артур, значит, того — тю-тю . . .

Я не сразу сообразил, в чем дело:

— Ведь война шла не из за Порт-Артура!

Но купец возразил уверенно:

— Не скажите! Войну то, конечно, англичане устроили. Япония, однако, больше о Порт-Артуре хлопотала.

— Вы о нашей войне с Японией?

— Натурально. Какая еще война?

— Так та война уже девять лет, как кончилась! В Портсмуте мир был подписан. Неужто вы не слыхали?

— Слыхать-то слыхал, да не верил . . .

Жена купца — молодая женщина тунгусского типа — вмешалась в разговор.

— Вот, видишь, обратилась она к мужу, Николай правду говорил. Он и Пармут называл, он все знает.

— Кто это Николай? заинтересовался я.

— В работниках у нас живет кореец православный, по нашему говорит. Я его вам позову.

Вошел в комнату кореец, стройный и ловкий на вид, с круглой, коротко остриженной головой, с бронзовым лицом. Не дожидаясь расспросов, принялся рассказывать о Порт-Артуре, о Цусиме, о том, как плавал он на джонке матросом, как служил потом сторожем в Охотске, как попал на Маю.

Купец вставил:

— Семь лет он у нас работает и все говорит, что война кончилась. Да я не верил ему; думал, нарочно он врет, чтоб мы за врага его не считали. А раз вы то же говорите, значит, так оно и есть . . .

* * *

С Мая мы пошли тайгой к Охотскому морю. Путь был не далекий, около 300 верст, но предстояло пробираться через болота, переходить множество речек, пересечь Джугджурский хребет, не очень высокий, но крутой и трудно проходимый.

Купили лошадь, нагрузили на нее наши пожитки, запас сухарей и консервов, и двинулись по запущенному «русско-американскому тракту». В тайге пристал к нам тунгус, Петр Карамзин, возвращавшийся в Аян из Амги, где он пролежал зиму в белой горячке.

Описывать здесь наше путешествие не буду [1]). Скажу только, что до моря мы не дошли. На половине пути, когда мы были уже на Челясине у подножья Джугджура, у нас случилось несчастье. Накануне переход был исключительно тяжелый. Мы выбились из сил, не приняли необходимых мер предосторожности, и ночью у нас убежала лошадь. Утром бросились искать ее по следу, и нашли лишь труп ее на мели посереди Челясина: она утонула, сбитая с ног силою течения.

Стали соображать, что делать дальше: итти к морю или возвращаться? Решили вернуться.

Я предложил возвращаться водой: по карте выходило, что Челясин несет свои воды в реку Уй, которая впадает в Маю выше Нелькана.

Из лежавших на берегу сваленных весенним половодьем деревьев срубили плот.

Петр не сочувствовал нашей затее и повторял:

— Челясин — дрянь дело. Много русский мальчик умирай. Аян ходить надо.

Мы расстались с ним, — он пошел налегке в Аян, а мы поплыли вниз по Челясину.

Река шла петлями, порой разбегаясь множеством рукавов, порой собираясь в один поток. Временами плот

[1]) Я описал его в очерках «В Тайге», которые первоначально печатались в Читинском «Забайкальском Обозрении», а позже вышли в Петрограде отдельным томиком.

кидало, как щепку, било о берега. Но при помощи длинных шестов мы довольно успешно управляли им.

С гордостью вспоминаю водовороты и пороги, которые мы прошли в этот день. А к вечеру плот остановился, — мы уперлись в «пробку», — затор из поваленных друг на друга бревен, коряг, деревьев.

Утром поднялись на плотину. Насколько хватал глаз, кругом громоздились бревна, сплетающиеся, как венцы разрушенных башен. Казалось, вокруг нас развалины огромного города. Реки не было видно. Лишь слабо журчала вода где-то в глубине, под развалинами.

Приходилось бросить плот, перетащить багаж через затор, а на чистом месте рубить новый плот. Но сказать это было легче, чем сделать.

Плотина не имела конца. Там и сям она прерывалась песчаными островками, проросшими ветлой; затем снова шел бурелом, а под ним во все концы текли невидимые ручьи...

С неделю бились мы здесь, пока не вышли на открытое течение реки. Принялись рубить новый плот. Но работа шла плохо. За это время наша провизия пришла к концу. Мы страдали от голода. Я ослабел настолько, что не мог держать топор в руках. Веденяпин тоже чуть не валился от усталости.

Вдобавок, плот срубили неудачно, пришлось бросить его и снова итти искать место, с которого можно было бы продолжать путь.

Эти дни мы питались исключительно ягодами, да еще Михаилу посчастливилось подстрелить куропатку.

Срубили третий плот, но оказалось, что взяли на него сырые, тяжелые деревья. Когда оттолкнули его от берега, он опустился на дно.

Вылезли из воды, в полном отчаянии сели на прибрежную гальку, нагретую солнцем. И вдруг я заметил над линией леса характерную двойную вершину гольца Киваги, мимо которого мы проходили дней 10 тому назад.

Схватился за карту, прикинул компас. Теперь мы знали, где находимся и куда итти: верстах в 30 от нас, к Западу, должна была проходить тропа, соединяющая Нелькан с Аяном.

Бросили багаж, взяли лишь ружье, котелок и топор и пошли прямиком через чащу леса.

Вышли мы из тайги похудевшие, осунувшиеся, как после тяжелой болезни, но гордые тем, что побывали в сердце неприступной тайги.

На всю жизнь осталась у меня память об этом путешествии и о братской заботливости, с какой помогал мне Михаил в те дни, когда я уже не надеялся выбраться из леса.

* * *

В Якутск мы прибыли в 20-ых числах августа. Уже было известно о сараевском убийстве и об австрийском ультиматуме. Пахло порохом в воздухе.

Все кругом говорили о войне.

Но я был настолько оглушен тайгой, что в первые дни слабо реагировал на политические новости, не мог осмыслить развертывающийся клубок событий . . .

Несколько дней спустя, на Лене, нам уже пришлось наблюдать картины мобилизации и проводов призывных. Война началась. И если кое-где в городах Европейской России население встретило ее кликами «ура» и коленопреклоненной молитвой за царя, в Сибири ее встречали проклятиями.

Вернувшись в Иркутск, я узнал, что почти все ближайшие товарищи проводили лето в Усольи: там были Церетели, Рожков и др. Поехал и я туда.

Как в якутской ссылке, все разговоры вращались здесь вокруг вопроса о войне. Но вопрос ставился уже не в плоскости гаданий о том, чем кончится война, а в плоскости тактических задач, встающих перед международным социалистическим движением.

Именно так, с первого дня, ставил вопрос Церетели, плохо разбиравшийся в карте военных передвижений, не разделявший охватившей обывателей страсти «полки разводить», но настойчиво, упорно искавший в газетах хоть беглых указаний, по которым можно было бы определить позицию, занятую по отношению к войне социалистическими партиями Запада.

Сквозь двойную ограду заграничной и российской цензуры до нас не доходило ни слова о выступлениях социалистических «меньшинств». Но Церетели, путем сопоставления различных косвенных указаний, приходил к заключению, что такие «меньшинства» существуют, и в них видел спасение Интернационала и ключ к разрешению мирового кризиса, — если только эти меньшинства сумеют завоевать симпатии и доверие широких рабочих масс, увлекут их за собою и из партийной оппозиции превратятся в руководящее партийное большинство.

Припоминаю мои настроения первых месяцев войны. Я был решительным противником войны, возмущался манифестациями казенного патриотизма и проповедью ненависти к немцам, считал основной задачей социалистов в России антивоенную пропаганду. Но в то же время у меня было сильное желание попасть на фронт для ближайшего ознакомления с «ликом войны» и для агитации в пользу мира; я подумывал даже о том, чтобы пойти на фронт добровольцем, и отказался от этой затеи лишь потому, что для ссыльно-поселенцев единственным средством попасть на фронт было обращение на высочайшее имя.

Не сразу согласился я с Церетели в его критике социалистических большинств Западной Европы. Первые недели войны меня прельщало такое об'яснение грехопадений международного социализма:

«Все правы, так как всем кажется, что они защищаются».